На разных уровнях

Юрий Васильевич Красавин

SHOUT
SHARE
IT

- Юрий Красавин

Юрий Красавин
На разных уровнях

Рассказ

Лет десять тому назад… Но, впрочем, надо обозначить нынешний день, соотнеся его с каким-то важным событием, а потом уж отсчитывать — так точнее обозначится время.

Нынче на многое в прошлом мы оглядываемся, и эхо давно случившегося достигает нас, повергая в состояние контузии той или иной степени. Мы побуждаемы к размышлению, мы жаждем осознать происшедшее ранее, нам хочется привести свои возбужденные мысли в стройную систему, растревоженные чувства в упорядоченное состояние. Вон в газетах печатают политические портреты тех, кто был безвинно казнен, и тех, кто их казнил; в журналах публикуют ранее клейменные и проклятые романы; обнажаются застарелые язвы и выносится точный диагноз былого общественного недуга; невеселыми размышлениями отмечается вторая годовщина Чернобыльской катастрофы…

Вот, пожалуй, упоминанием о Чернобыле, и можно сориентировать день нынешний, а уж от него отсчитать десять лет назад. Таким образом я привязываю свое повествование, как глупого теленка к тычку, в землю вбитому.

Итак, со временем все ясно. Теперь о месте действия: дело было в Новгороде, я работал тогда… Титул у меня был пышный, вернее, длинный: ответственный секретарь Новгородской областной писательской организации. Человек на такой должности облечен ответственностью, но, увы, не властью, следовательно, благо, которое он может совершить, имеет весьма ограниченные размеры. Тем более в Новгороде, где численность организации была очень невелика: пять человек. При таком малом составе должность ответственного секретаря считалась синекурой и была тогда желанна для любого из новгородских писателей, исключая разве что смиренного старичка, не претендовавшего решительно ни на что и жившего даже не в Новгороде, а в Боровичах. Каждый из остальных рядовых членов (назову их: Прозаик, Поэт, Драматург) проводил политику столь хитрым образом, чтоб свалить должностное лицо — ответственного секретаря — и самому стать таковым. Иллюзия

простоты этой операции подогревалась тем, что один человек по сути составлял четвертую часть нашей организации, а два — ее половину. При нейтралитете третьего, двое уже составляли большинство.

Это большинство из двух человек, Прозаик и Поэт, распив бутылку яблочного вина в станционном или гостиничном буфете, являлось в наш писательский оффис с самыми решительными намерениями — чаще всего они требовали денежных выплат под каким-нибудь соусом.

Кстати, об «оффисе»: это была довольно большая комната на нижнем этаже, с двумя окошками, выходящими на грязный неухоженный двор. У нас постоянно воняло канализацией, и наши отчаянные обращения в домоуправление и выше не помогали: нам объясняли, что дом старый, трубы прогнили, отремонтировать их невозможно, надо заменять, а замена — это уже капитальный ремонт, который намечен на следующую пятилетку или чуть далее. Восемь лет занимал я свой высокий пост и все восемь лет вкушал канализационные ароматы. Не один, разумеется, а вместе со всеми профессиональными писателями Господина Великого Новгорода и нашим литературным активом. Впрочем, с художниками тоже: они соседствовали с нами, их «оффис» был бок о бок с нашим.

Итак, мое оппозиционное большинство являлось ко мне и поднимало любой вопрос, решая его в свою пользу самым простым, так сказать, демократическим путем — открытым голосованием. Процедура эта происходила у нас довольно часто — тут надо учитывать древнюю традицию вечевого новгородского правления, следовательно, неизбывную тягу к ней, генетически заложенную в крови.

Прозаик с Поэтом, требуя денег, ставили правящее лицо, в данном случае меня, в тяжкое положение: ведь они считались только с собственными нуждами, а не с возможностями самой маленькой писательской организации в России и не с финансовой дисциплиной. Коллеги мои рассуждали на удивление трезво и логично: если есть на свете деньги, значит, они должны быть разделены и не как-нибудь, а на три части: Поэту, Прозаику, Драматургу; старичок в Боровичах не в счет — у него пенсия. А то, что имеющиеся деньги полагается тратить на исполнение какой-то работы, во внимание не принималось. В том и было коварство их политики: нажать на ответственного секретаря с тем, чтобы он допустил финансовые нарушения, и тогда уж снять его с должности как раз за эти преступления.

Я отказывался нарушать закон, тогда большинство выносило решение о смещении меня с должности: уходи, мол, князь, не

надобен еси.

Ну, дело прошлое, и я не стал бы распространяться о кипении наших страстей, не стал бы даже и упоминать о них, если бы они не имели касательства к тому главному, о чем я хочу поведать.

Скажу только, что обком партии неизменно вмешивался в ход писательских дворцовых переворотов, желая примирить непримиримое. Для этого в обкоме имелся подходящий работник — Виктор Иванович Кулепетов, очень милый человек, одаренный к тому же явными дипломатическими способностями: вставши на вершине воздвигнутых нами баррикад, он умел красноречиво воззвать к нашему здравому смыслу, усовестить и усмирить. «Ну, как вы не понимаете, Юрий Васильевич? Ясно же: незрелые люди!» — говорил он мне доверительно о моих оппозиционерах. И столь же сердечно им обо мне: «Красавин молодой еще, неопытный…»

Выше Кулепетова был заведующий отделом пропаганды Альберт Мартынович Тэммо, но он редко нисходил с горных высот до нас, а если и случалось такое, то лишь в паре с Кулепетовым. Роли у них распределялись при этом так: Виктор Иванович карал гневными речами, а Альберт Мартынович бодро обещал «ликвидировать проблему» и «решить вопрос».

Ну, а еще выше был секретарь обкома по идеологии — это такой уровень, до которого наш вечевой гвалт достигал лишь в форме отдаленного и неясного шума. То есть, в форме сухой информации, лишенной эмоциональной окраски: бузят, мол, писатели, авось скоро кончат.

Каждому областному центру должно иметь приличную футбольную команду, пару-тройку генералов в отставке, музыкальный ансамбль или хор народной песни, театр и хотя бы одного олимпийского чемпиона (по гребле, например), ну и писательскую организацию. Когда этот своеобразный «джентльменский набор» у города есть, власти спокойны: они не хуже других. Ну, а чем там, к примеру, писатели заняты, бог ведает. Главное, что они есть в наличии — этого достаточно.

Многого от нас не требовали. А что тут потребуешь! Писательское творчество — тайна. Оно не поддается директивным указаниям, не регламентируется планом, не стимулируется социалистическими обязательствами — это сознавали в обкоме партии и рассуждали, наверное, так: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. «Дитя» же — писательская организация — капризничало по самым мелким поводам, возводя сущие пустяки до принципиальных высот. Стены «оффиса» содрогались от бурь и гроз, кипение страстей накаляло их до всех цветов побежалости.

Писательское вече, уступая усилиям дипломатичного Кулепетова, на некоторое время замирало, а потом опять взрывалось страстями, опять мне выносился вотум недоверия, и я слал телеграмму в Москву, в Правление Союза писателей России, информируя о своем очередном смещении с поста. Туда же уходило послание моей оппозиции с подробным изложением моих вин: работу развалил, положенные восемь часов в конторе — «оффисе» — не отсиживает, деньги остаются непотраченными, старых не уважает, молодых притесняет. Там иногда «реагировали»: присылали комиссию, составленную из служилых людей сопредельных с нами земель — из Твери, Пскова, ну и из Москвы тоже; комиссия знакомилась с состоянием дел, констатировала наши достижения и упущения, отметала явную клевету и… я оставался на посту до следующего веча.

Появление посторонних писателей (даже если это была не комиссия, а просто кто-то приезжал по своим делам) я всегда воспринимал как элемент привходящего благоразумия. То есть от их приезда наша великая писательская пря обретала четкие смехотворные очертания, и на душе у меня становилось легче. Новгородцы пошучивали, что-де Москва и Ленинград — это наши пригороды, поскольку Новгород между ними да и древнее их гораздо, а в общем-то мы глубоко чувствовали свое провинциальное ничтожество: и писатели, и художники… наверное, и футболисты тоже. За отставных генералов не поручусь.

И вот сидел я однажды в своем оффисе… кажется, на этот раз канализация несколько упорядочилась, и миазмы были не так густы, а впрочем, не помню… сидел я, растворилась дверь и вошел давно знакомый мне лично поэт Антонин Чистяков, а следом за ним человек невысокого росточка, неказисто одетый (под пиджаком поверх рубашки джемперок, под рубашкой свитерок) и очень хмурый, чем-то недовольный. Здороваясь, он небрежно, как бы нехотя, пожал мне руку и сказал весьма невнятно:

— Абрамов.

И тотчас отошел, сел подальше, стал листать газеты, то ли прислушиваясь, о чем мы с Чистяковым говорим, то ли нет.

Антонин Чистяков в свое время стоял, можно сказать, у колыбели нашей славной Новгородской писательской организации. Создана она была одной из последних в России; я тогда в Новгороде не жил, а вот Антонин был одним из двоих остепененных членством в Союзе писателей, которых можно считать, собственно, коренными новгородцами, а уж к ним потом присоединились еще трое, приехавшие из-за пределов области, —

состоялся учредительный съезд из пяти человек, таким образом история организации началась. Чистяков рассчитывал, что именно его изберут ответственным секретарем, приняв во внимание организационные заслуги, но этого не произошло. Он разобиделся настолько, что перебрался вскоре на жительство в Ленинград, обменяв квартиру; однако же с тех пор не любил Новгород, утверждая, что писательская организация здесь состоит из двух дураков и двух алкоголиков, и бывал только в северном краю области, где у него в деревеньке, неподалеку от Боровичей, был свой дом, игравший роль дачи. По-видимому, там у Антонина гостил и Федор Абрамов — вот чем объяснимо их совместное появление в Новгороде.

Мне и ныне трудно понять, что могло подружить этих двух людей: знаменитого прозаика и малоизвестного поэта. Впрочем, то была не дружба — Абрамов держался генералом, а Чистяков смиренно, даже этак боязливо исполнял при нем обязанности адъютанта.

Антонин Чистяков всегда был робким и смирным человеком, неведомо почему. Можно, конечно, эту манеру поведения назвать и скромной, но мне она не нравилась, поэтому я скромность и именую робостью. Антонин не любил возражать кому бы то ни было и, если был с чьим-то суждением не согласен, просто отмалчивался; при этом был обидчив и, разумеется, самолюбив, как все поэты. Где-то внутри бушевали в нем протест или возмущение, прорываясь наружу лишь изредка, а вообще-то он всегда был тих. Встретив в Новгороде знакомого ему стихотворца, бывшего офицера, автора множества барабанных стихов на тему «Ах, какой я хороший: честный, храбрый, боевой!», коими он заполонил все районные газеты области, Чистяков перед ним становился чуть ли не в стойку «смирно». Потому, видите ли, что когда-то давно, лет двадцать или тридцать назад, служил в армии под началом как раз у этого офицера, который потом уже, уйдя в отставку, принялся писать стихи. Впрочем, может, и не поэтому, а черт знает почему! Ведь и без той былой военной службы Антонин держался бы почтительно перед нашим стихопёком. Не написавши ни одной поэтической строки, отставник преисполнен был важности и несокрушимого превосходства, имел осанку литературного «мэтра», тогда как Чистяков, автор многих поэтических сборников и журнальных публикаций, уже не одно десятилетие носивший в кармане членский билет Союза писателей, помалкивал о своем таланте. Во всяком случае не выпячивал грудь вместе с брюшком, не пыжился, не изрекал банальности под видом важных откровений.

Ну, а Абрамов являл в себе иные качества по сравнению с

Чистяковым: достоинство свое соблюдал строго, разговаривал прямо и твердо, не подлаживался ни под кого, а заставлял других подлаживаться к себе. Вот потому и недоумеваю ныне, как недоумевал тогда: что же сблизило их, явившихся в мой оффис, очень уж они были непохожи. Но — возможно, тут и ответ: потому и сошлись, что разные люди. У одного была потребность взять кого-то под крыло, у другого — нужда в чьем-то покровительстве. Абрамову нравились стихи Чистякова, он даже любил их цитировать; Чистяков почитал в Абрамове талант трезвого реалистического романиста, публициста да и просто хорошего русского мужика, ибо это тоже талант.

Явились гости по делу: скоро съезд писательский, и секретари правления решили разъехаться по городам и весям России, чтоб поближе узнать проблемы быстротекущей жизни: Федор Абрамов выбрал Новгородчину, поскольку она родственна его архангельской родине.

Я тотчас занялся хлопотами о гостинице, но без всякого успеха: время летнее, самый туристский сезон, а заранее гости меня не известили. Пришлось обратиться за помощью в обком партии, но Кулепетова на месте не оказалось: приболел, лежал в больнице. Я поднялся на уровень выше, то есть позвонил Тэммо: так и так, мол, приехали Федор Абрамов и Антонин Чистяков, им необходимо то-то и то-то. «Поможем! — бодро озаботился тот. — Ждите, позвоню».

Надо сказать, что незадолго перед тем был опубликован очерк Абрамова и Чистякова «Пашня живая и мертвая», и это наделало много шума. Суть очерка: дичает, пустеет, разоряется земля одной из коренных российских областей — Новгородской, — а посему судьба ее внушает большие тревоги и опасения. Это было в эпоху, когда бодряческий тон — «Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключеньем пустяков!» — процветал; высшим проявлением партийности и патриотизма было как раз твердить взахлеб: все хорошо, все хорошо! И тут вдруг новгородскому начальству в глаз колют: что и то плохо, и это. Партийные верха нашей области оценили очерк как явное и злоумышленное очернительство, как намеренное «сгущение красок». Но тут слух прошел, что в верхах, еще более высоких, очерк не произвел раздражающего воздействия, там не осудили авторов, а потому, хочешь не хочешь, теперь их следовало привечать. Поэтому Тэммо бодро ответил: сейчас, мол, все уладим.

Пока суть да дело, я пригласил гостей к себе домой выпить чаю, благо жил рядом. Пригласил, заведомо сомневаясь, что Абрамов примет приглашение: уж очень сурово он держался.

Меня, признаться, задела небрежность, с какой он подал мне руку, называя себя, да и то, как отчужденно сидел, листая газеты. Однако они оба согласились охотно.

В квартире моей Федор Александрович огляделся этаким цепким, хозяйским глазом, ему понравилась некоторая пустынность жилья, то есть отсутствие лишних вещей, вроде ковров и хрусталя. Просвечивала, так сказать, честная бедность. Выяснилось, что и сам я, и жена моя — люди, выросшие в деревне, знакомые и с запахом навоза, и парного молока, что Абрамову было по сердцу. А от моей шутки: «Хорошо-то не жили, и начинать незачем!» гость немного помягчел, утратил официальность.

Я приглядывался к Абрамову и постепенно смирялся с его манерой поведения — этакой не слишком любезной, строгой. Некоторые неудобства общения с ним искупались сторицей: гость мой относился к тому крайне немногочисленному разряду собеседников, для которых процесс думания, размышления естествен и постоянен, как дыхание. И надо ли говорить, что размышления его были не на праздном уровне, а «по делу»; что ни суждение — то дельная мысль, неожиданный ракурс. Таких людей я в своей жизни встречал мало, могу пересчитать на пальцах одной руки.

Разговаривали мы, помнится, о том явлении, которое немало дивило нас: о своей шефской помощи в мелиорации Новгородской области объявила среднеазиатская республика. Соображения пропаганды взяли верх над экономикой; шуму было много, а толку чуть: звонкими лозунгами о дружбе народов прикрывали обыкновенную бесхозяйственность, ибо это мероприятие обходилось в очень круглую копеечку. Приезжим мелиораторам шла тройная оплата: во-первых, дома, по основному месту работы; во-вторых, им начислялись командировочные; и в-третьих, старались побольше заплатить уже здесь, на Новгородчине. Ну, это еще не беда — денежные выплаты: был бы прок от них. Но откуда быть проку, если приезжали люди в основном неквалифицированные, из тех, что и у себя-то дома не нашли дела, их еще учить да учить надо. Таким образом цена этой «помощи» была непомерно высокой, иначе говоря, разорительной для бедной Новгородчины. Цифры освоенных средств бодро ложились в отчеты, радуя сердца администраторов, и это в то время, когда полным ходом шло запустение и оскудение новгородской земли, когда пашня, на протяжении столетий кормившая поколения русских людей, зарастала, дичала или под натиском бесцеремонной техники становилась мертвой.

О том и писали в своем очерке мои гости, о том и говорили мы, сидя за столом у меня дома, когда позвонил Тэммо и сказал, что нас примет второй секретарь обкома партии Смирнов, и там, само собой, «решится вопрос с гостиницей».

Мы отправились.

Та беседа в обкоме была краткой: гости каши обозначили цели своей поездки по области да попросили помочь с гостиницей и транспортом. Смирнов держался сухо, но в ответ на просьбу тотчас распорядился, позвонив заведующему хозяйственным отделом… фамилию его я, каюсь, позабыл, но помню, что это был мужчина суровый: если попадется, бывало, навстречу, то на твое почтительное «здравствуйте» он в ответ ни гу-гу, не снизойдет. Ба! Осипов его фамилия. Вишь ты, всплыло в памяти. Можно бы обойтись и без этой фамилии, но раз уж вспомнил…

Итак, мы спустились на этаж ниже, я зашел к Осипову спросить о машине, когда ее можно взять, и услышал от него суровое:

— А кто за нее платить будет? Писательская организация?

Бюджет руководимой мною организации таковой затраты позволить себе не мог.

— Простите, — посмел заметить я, — но ведь вам же только что позвонил Смирнов! И это именно он послал меня к вам.

— Позвонил… Но я спрашиваю: кто будет платить за машину? Может быть, вы из своего собственного кармана?

Мой собственный карман и вовсе был некредитоспособен.

Я, озадаченный, вышел. Абрамов с Чистяковым увидели мою расстроенную физиономию: «Что, Юра?» Я им: «Сейчас, сейчас…»

И отправился опять к Смирнову. Второй секретарь обкома в ответ на мою жалобу: «Не дает Осипов машины!» — сделал недоумевающее лицо и отослал меня обратно: мол, распоряжение отдано, повторять нет смысла. Я опять мимо Абрамова и Чистякова — к суровому хозяйственнику. Секретарша к Осипову не пускала: занят. Следовательно, ждать, когда он освободится. Я ждал его, мои гости — меня.

— Юра, в чем дело? — спросили они.

Я рассказал им.

— Уж это не случайно, Федор Александрович, я их знаю, — обронил Чистяков уныло. — Нам выражают таким образом свое неудовольствие за очерк.

— Ну, что вы! — возразил я. — Сейчас будет машина.

Я не допускал мысли, что руководящие товарищи родной мне области могут играть в такие игры.

— Ладно, обойдемся, — сказал Абрамов, помрачнев. — Ни о

чем больше не проси, Юра. Пошли отсюда.

И мы удалились.

Удалились-то удалились, но… за гордыню Бог наказывает: лишь с большими трудностями удалось мне выбить гостям комнату, да и то не в гостинице, а в общежитии. Чистяков, впрочем, ушел ночевать к знакомому журналисту, у которого всегда останавливался. А Федор Александрович, как потом признался, не спал всю ночь: в его апартаменте было и шумно, и сквозняк из-под двери в окно…

Приятель Антонина Чистякова, человек добросердечный и простодушный, писателей уважал и знакомством с ними дорожил. На другой день он предложил Абрамову свои услуги, поскольку, будучи инвалидом войны, имел «Запорожец». На этой машине они втроем и уехали в какой-то колхоз, и так ездили несколько раз, а я в это время где-то заседал: то ли на партийно-хозяйственном активе, то ли на очередном пленуме неведомо какой организации.

Я чувствовал себя уязвленным и обиженным: все ездят на служебном автотранспорте — директора заводов и председатели колхозов, мелиораторы и милиционеры, совслужащие и партработники и прочие деятели, коим несть числа, — для всех найдется казенная автомашина, и дело каждого уважаемо, неотложно, необходимо; только писатели — сироты. Только их занятия чванные чиновники считают чем-то второстепенным, досадным, следовательно, ненужным и даже вредным. И так легко этим людям пренебречь писателем — ведь от него ничто не зависит: ни размер оклада, ни продвижение по службе. Гораздо важнее понравиться своему начальству, а дружбу иметь не выгоднее ли с директором какого-нибудь магазина, скажем, обувного или книжного, а не с поэтом да прозаиком? Звание высокое — писатель! — а человек-то бесполезный, поскольку что с него взять? Нечего. Так что удержаться от соблазна поторжествовать над ним очень трудно, вот и тешат свое мелкое тщеславие чиновники, вроде этого Осипова…

Такие обиды кипели во мне, пока я заседал; все никак не мог успокоиться. Ну, ладно, мол, я — не велика шишка. Но — Федор Абрамов! Как-никак лауреат Государственной премии (а что такое «лауреат»? В переводе с греческого означает «увенчанный лаврами»), то есть это человек, увенчанный лаврами за романы, кои находятся в центре читательского интереса, следовательно, совершенствуют человеческую душу, формируют личность, пробуждают ее добрые силы, иначе говоря, производят самую тонкую, самую ответственную работу…

Что останется на этом свете от Осипова, разъезжающего на черной «Волге»? Да его хоть золотом осыпь, он ничего не сделает полезного людям, и нечем будет его вспомнить. Это Абрамову надо создать условия наибольшего благоприятствования, то есть вкладывать государственный капитал, обеспечивая ему условия, ибо это прибыльное дело — он оставит свои книги, которые станут нашим национальным богатством. Почему же получается наоборот?

«Боже, сделай так, чтоб поставили потом памятник Осипову… или устроили музей Осипова, — молил я, неверующий в Бога человек, — пусть люди приходят туда, а им экскурсовод показывает: вот стул, на котором сиживал товарищ Осипов… вот его служебный телефон… а вон во дворе стоит его персональная черная „Волга“. Пусть люди духовно обогащаются, созерцая эти атрибуты…»

Увы, от моих рассуждений и молений ничего не менялось: Абрамов с Чистяковым ездили на прихрамывающем «Запорожце», грозившем развалиться, едва они съезжали с асфальта на проселок, и ночевали по-прежнему без удобств.

Вечерами, вернувшись из очередной поездки, они приходили ко мне домой, и мы подолгу просиживали, беседуя о том, что удалось увидеть за день — то есть о пашне, живой и мертвой, об угасающих новгородских деревнях, о гиблых дорогах… О том, как «достучаться» до человека, пробудить его совесть, достоинство, любовь к родной земле и родной семье.

За этими беседами я чувствовал себя мобилизованным на святое дело и как бы вознесенным судьбой на иной уровень жизни, отчего все обретало ясность, значимость и высокий смысл; стали видны вдруг земли до Белого моря и Урала, до Кавказа, Карпат и Балтики — я чувствовал уже свою личную ответственность за их судьбу.

В эти вечера наши новгородские писательские деяния представали передо мною в таком свете, что совестно и досадно было, непереносимо совестно и досадно.

А между тем как раз в это время очередная волна недостойной суеты выносила нас на гребень: один из моих коллег — Поэт — обратился в областное КРУ (контрольно-ревизионное управление) с требованием немедленно провести ревизию финансовой деятельности руководителя Новгородской писательской организации, поскольку-де имеются нарушения в особо крупных размерах. Это заявление немало распотешило контролеров-ревизоров; они спросили: какова годовая смета писательской организации? Восемь тысяч рублей, из них

половина идет на зарплату руководителя и бухгалтера, а другая половина — на аренду помещения, на командировки, канцелярские расходы, телефонные переговоры и тому подобное. Что же тут можно нарушить в «особо крупных» размерах? А у областного КРУ заботы такие: есть заводы с многомиллионными сметами, не ревизованные уже несколько лет. Поэту сказали, что оно-де, КРУ, — зверь крупный и охотиться на мелких пташек, вроде писательской организации, не желает. На это Поэт отвечал, что он, как сын работника НКВД, погибшего на фронте, не потерпит их ротозейства и головотяпства, и у них будут неприятности особо крупные. На это ему было заявлено, что они, ревизоры-контролеры, тоже не чужих отцов дети… В общем, повеселились они там, в КРУ.

Примерно в эти же дни кто-то из доброжелателей сообщил мне, что видел папки с бухгалтерскими документами нашей писательской организации в другом конце города у старушки-машинистки, которая снимала с них копии: ясно, что оппозиция моя вела очередное планомерное наступление.

Я в свою очередь предпринял оборонительный ход: заявил в милицию об исчезновении документов. Приехал милиционер, потребовал открыть сейф, документов там не обнаружил, бухгалтершу увез с собой для объяснений. А то была хитроумная бухгалтерша: она умудрялась тогда работать одновременно в четырех местах. Да, да, кроме нашей конторы, еще и у художников — это-то я ей разрешил, а вот что, помимо того, она еще и в некоем спортивном обществе (кажется, «Урожай»), а также… в народном суде — это открылось лишь потом. Таким образом она получала четыре зарплаты. Возможно, и больше: уйдя, бывало, в отпуск и уже начислив себе отпускные деньги, она на другой день являлась на работу и просила меня написать приказ о ее отзыве из отпуска: у нее-де квартальный отчет; у художников она поступала точно таким же манером — итого четыре зарплаты за один отпускной месяц в наших двух «оффисах». Как уж в спортивном обществе и в народном суде, не знаю. Неужели и там еще четыре?

Итак, в среде писателей и художников разразилась сенсация: «Бухгалтершу в милицию замели! Дело шьют!» Ну, разумеется, ее вскоре отпустили, как только записали чистосердечное пояснение, почему документы из сейфа, которым она ведает, гуляют по городу; однако же неожиданным поворотом событий хитроумная бухгалтерша была обескуражена, а оппозиция моя временно смущена и озадачена.

Такие вот страсти кипели у нас своим чередом.

Как видите, мы, новгородские писатели, в ту пору скучать

никому не давали: ни милиции, ни обкому партии, ни контрольно-ревизионному управлению, ни собственному литературному активу.

Однако вот что скажу: ни разу во время моих бесед с Абрамовым и Чистяковым мы не опустились до обсуждения наших склок. Не та была атмосфера.

В то время, признаться, меня заботили больше не оборона от коллег в Новгороде, а нелегко складывавшиеся отношения с Центральным телевидением: творческое объединение «Экран» задумало поставить многосерийный телефильм по моим деревенским повестям и уже заключило со мной договор, и сценарий я уже им написал, но… в решающий момент, когда я приехал туда, хитроумная дамочка из «Экрана», вроде моей бухгалтерши, отвела меня в сторонку и тихонько мне сказала: «Вы хотите все деньги один заработать… у вас должен быть соавтор, понимаете?»

Мне очень хотелось, чтоб вышел на телевидении фильм о моей деревне, столь любимой мною (это глубокая боль и все-таки в то же время и гордость моя!), но на соавтора я не согласился: «Я не умею работать с кем-то!» На это хитроумная дамочка сказала: «Вы не понимаете… Работайте один, но фамилий на титульном листе будет две». — «Нет, это вы не понимаете, — отвечал я ей. — Соавтора у меня не будет».

И сценарий мой лег на полку в архив там, в «Экране»; фильм не был поставлен. Никакие мои доводы и аргументы во внимание не были приняты: когда речь идет о дележе денег, люди становятся ужас как принципиальны, просто на удивление.

Вот об этом я, помнится, посетовал перед моими гостями. То было серьезно, и сокрушало мое сердце, а что до новгородского «веча» — это все-таки суета, и его мы во время тех бесед не могли обсуждать. А если б зашла об этом речь, то могу представить себе, как воспринял бы ее мой гость, — и нахмурился бы, и рукой отодвинул, и мог бы осудить нелицеприятно, прежде всего, меня, как непосредственного участника недостойных событий.

По-моему, мы говорили о более достойном и ни в коей мере нас не роняющем: не столько о текущем дне, сколько о Времени; не столько о своих завтрашних заботах, сколько о Судьбе Родной Земли. Да простятся мне высокие слова!

Да простятся они мне, ибо я пытаюсь дать понять, о чем мы тогда говорили. Как жаль, что я не записал в ту пору! Казалось, впереди времени много — лет двадцать, а то и тридцать; что беседа наша — только начало, а будет и продолжение, будет еще время и записать, и осмыслить, и уточнить. Вот и остались лишь

общие впечатления да обрывочные воспоминания.

Помню, я рассказал моим гостям, как несколько лет назад, когда жил еще не в Новгороде, а в районном городке Калининской области Осташкове, был вызван на совещание молодых писателей при журнале «Октябрь». Там устроили собеседование на тему о том, о сем, желая узнать, кто из молодых чем дышит и нет ли в нашей среде чуждых журналу «непатриотических» веяний. Первым на этом вольном собеседовании выступил начинающий писатель с Кубани, комбайнер; он рассказал, как у них там все хорошо, в Краснодарском крае: и в колхозы-то принимают только с испытательным сроком, и дороги-то асфальтированы, и Дома культуры с колоннами, и урожаи по пятьдесят центнеров с гектара, и надои по пять тысяч литров от коровы… Слушая его, сидели сотрудники «Октября» этакие размягченные, благостные, довольные. А потому довольные, что вроде бы как и по всей стране такая благодать: сельское хозяйство процветает, крестьяне-колхозники безмерно счастливы, так что перед писателями цель одна — восторженные гимны слагать.

Терпел я, терпел — такая меня злость взяла! Встал вслед за кубанцем, заявивши: позвольте, мол, провести некоторые параллели. У нас на тверской земле пастбища и сенокосные угодья зарастают кустарником, а наши тверские деревни обезлюдели настолько, что подчас на той или иной ферме некому не то что покормить, а я подоить буренок — таковы драмы! Стоят коровы некормленные, недоенные, ревмя ревут, не потому ли средний надой от каждой буренки по моему Осташковскому району составляет около полутора тысяч литров, то есть в три-четыре раза меньше, чем на благословенной Кубани, — таковы проблемы! А дороги у нас в такой степени гиблые, что в тракторную тележку с молочными бидонами «запрягают» сразу два трактора, а иначе не вывезти — таковы сюжеты. Ну, а с Дворцами культуры у нас ни проблем, ни сюжетов нет, поскольку нет дворцов, а есть бревенчатые клубы-избы с протекающими крышами и похилившимися крылечками. В заключение своих параллелей я спросил, обращаясь к помрачневшим сотрудникам «Октября»: как это так получается, что мы, писатели одной страны, в столь неравном положении? Отразит комбайнер с Кубани жизненную правду в своем художественном произведении — он будет в их глазах слыть настоящим патриотом, идеологически зрелым человеком и желанным автором; а отражу эту правду я — обрету репутацию очернителя, чуть ли не антисоветчика, и меня на порог редакции не пустят.

В общем, бестактную речь произнес, чего говорить! Испортил

обедню. Главным редактором «Октября» был тогда Всеволод Кочетов…

Когда я начал свое выступление, мой сосед (он был из Днепропетровска) наступил мне на ногу: не возникай! Но я не унимался. Он снова наступил — я еще больше разозлился. Днепропетровец вскочил вслед за мной и заявил, что недавно был он с командировкой «Октября» в Тюмени, где тоже рабочих рук остро не хватает, и вот секретарь тамошнего обкома партии просил писателей создать о нефтяниках такое произведение, чтоб люди хлынули на нефтепромыслы, и проблема была бы решена. Вот, мол, наша задача в том и состоит, чтоб, к примеру, писатель из Осташкова создал книгу, которая позовет людей в село…

Парень этот, побывавший в Тюмени и так хорошо понявший призыв секретаря обкома, объяснил мне потом: «Я тебя спас! Ты забыл, где находишься? Не выступи я — собеседование каше дало бы такой крен, что тебе этого никогда не простили бы».

— Далеко пойдет, — заметил Чистяков негромко, выслушав мой рассказ.

— Никуда он не пойдет, — возразил Абрамов, — Вечно ты, Антонин, не с той стороны смотришь. Литература — не сфера обслуживания.

И Антонин тотчас согласился: да, да, не сфера обслуживания, разумеется, да вот взгляд этот на литературу и литераторов, так сказать, весьма распространен.

— Каждый должен исполнять свой долг, — продолжал размышлять Абрамов, — в меру совестливости и сил своих. А уж потом рассудят, кто есть кто.

Рассказ мой в определенной степени заинтересовал его, и он порасспрашивал немного о том совещании молодых писателей, которое пришлось на пору великого противостояния «Октября» с «Новым миром». От меня, жившего тогда в глухом районном городке, литературный мир был отдален и отстранен, как от древних греков бытие богов-олимпийцев. Честно признаться, я не очень-то четко понимал суть и содержание борьбы между журналами, хоть и учился тогда заочно в Литературном институте. Помню, как, будучи на том совещании в «Октябре», удивился такой сцене: в перерыве нашего совещания все вышли в коридор покурить, и вот здесь («в кулуарах», так сказать) главный редактор запросто, то есть вроде бы демократично, встал вместе с нами, начинающими — вроде, рядом, и вроде, попросту, но… расстояние протянутой руки иногда подобно пропасти.

Это был человек энергичный в каждом своем движении, каждом слове, с цепким взыскательным взглядом, с твердой интонацией в голосе. Словно некий отсвет высоких сфер лежал на

нем: доходила до нашего слуха кое-какая информация о нем: то его «вызвали в ЦК», то о том, как он «позвонил члену Политбюро».

Я успел заметить тогда, что редакцию свою он держал в трепете. Помню, как ждали его появления каждый день, как встречали — тут были и страх перед строгим, взыскательным начальником, и уважение. И вот хоть стоял он тогда рядом с нами, но это было, как прихоть, как великодушный поступок большого человека, а не его душевная потребность. Вот тут, в кружке, и произошло то, что меня удивило: один из молодых авторов «Октября», кажется, рабочий издательства «Правда», обратился к Кочетову:

— Всеволод Анисимович, а знаете, на здании, что напротив входа в «Новый мир», есть барельеф, и на нем написано… не помню дословно, но по смыслу так: вся, мол, наша надежда только на тех, кто сам, своим собственным трудом добывает свой хлеб. Понимаете? Изображен рабочий, вращающий колесо машины, и сделана эта надпись. Я думаю, не случайно, что именно напротив «Нового мира», а? Как вы считаете?

— Неужели?! Так там написано? — оживился Кочетов, — Ну, что же, я с вами согласен: не случайно, не случайно именно там это, — и далее неожиданно и совсем по-детски признался: — А я, знаете, на той улице не бываю… я ее стороной обхожу.

Все засмеялись. А чему, собственно?

Я не выбирал в то время, где мне печататься, а предложил по рукописи и в тот журнал, и в этот: в «Октябрь» повесть «Хозяин», где ее опубликовали еще до того совещания молодых; а повесть «Пастух» — в «Новый мир», там пообещали напечатать, но… наступило смутное время: Твардовского сместили, команда сменилась, в новомирские паруса подули новые ветра.

После моей задорной речи в стенах «Октября» от меня этак слегка отшатнулись сотрудники журнала. Ну, «отшатнулись», пожалуй, слишком сильно сказано — просто посматривали на меня испытующе, настороженно: чего, мол, еще от него ждать? Вроде, большого проступка не совершил, но… есть сомнения и подозрения.

Далее было так: повесть комбайнера появилась вскоре на страницах «Октября», а мне с тех пор рукописи оттуда неизменно заворачивали с объяснением, что они «не заинтересовали редакцию». Так было и после смерти Кочетова.

В день отъезда из Новгорода Абрамова и Чистякова мы пошли, помню, прогуляться в кремль. И говорили опять, говорили… не о древностях новгородских, а о живом и мертвом

— в пашне ли, в слове ли, в человеке ли. Собственно, говорил-то в основном Федор Александрович, а мы слушали. Шли, помнится, по площади, что перед Домом Советов; Абрамов, рассуждая, то и дело останавливался, разводил руками, на любопытствующих прохожих взглядывал грозно: мол, не мешайте.

Чистяков — тот, по-видимому, уже попривык к «думанию вслух»; он слушал, не переча, оглядывался с обычным своим унылым видом, иногда поддакивал. Именно это, по-видимому, и нужно было Абрамову. А я еще не приноровился, меня будто за язык тянули: хотелось врубиться в разговор, как в сечу, но… прервешь такой речевой поток! Когда еще выпадет послушать, как рассуждает вслух человек уровня Федора Абрамова?

Толковали мы в этот раз, между прочим, о «политике». О чем еще могут говорить три взрослых человека в любой точке нашего государства, желая построить умную беседу? В то время большую озабоченность повсеместно вызывало то, что на самом высоком уровне руководства нашей страны сплотились люди преклонного возраста. Череда похоронных церемоний еще не началась, она последовала потом, а тогда ее только ждали. А ожидаючи, гадали: кто придет на смену? На какие перемены можно рассчитывать? И какие, собственно говоря, желательны?

Хорошо помню, выражались мы хоть и достаточно откровенно, однако осторожничая друг перед другом.

— Вот идем мы и беседуем, три мужика, — не выдержал Абрамов, — и ведь боимся говорить открыто? Разве не так? Даже друг друга опасаемся… Что за страна у нас! Где еще так?..

Мы с Чистяковым переглянулись, пожали плечами: что ж, мол, дело привычное, с этим живем.

— И будет ли нашему безгласию конец, а? — продолжал вопрошать Федор Александрович и при этом посматривал на здание обкома партии, что было перед нами, — Будут ли перемены когда-нибудь? Как по-твоему, Юра, есть какие-то признаки, вот хоть бы у вас в Новгороде? Ведь перемены должны вызревать не только где-то в столице, но и здесь, в глубокой провинции.

Я предположил, что на партийные посты, по-видимому, уже приходят новые люди, и довольно, кстати сказать, молодые. Вот, к примеру, у нас в Новгородском обкоме партии секретарем по идеологии стал Скворцов, мой ровесник, то есть ему нет и сорока.

Конечно, судить о нем трудно, я его мало знаю, но… Вскоре после утверждения в должности пригласил меня к себе, мы довольно долго беседовали, и он в самом доверительном тоне попросил меня помогать ему советом в близкой мне литературной сфере, поскольку он хозяйственник, идеологией не

занимался, и у него могут возникнуть кое-какие вопросы. Разумеется, я обещал, что в меру сил… Не свидетельствует ли такой разговор о желании разобраться, услышать, понять? А ведь это же половина дела!

— Надо, надо, чтоб приходили к власти новые люди, — убежденно сказал Абрамов, выслушав меня несколько рассеянно: его собственный мыслительный процесс владел им всецело и не зависел от посторонних суждений. — А то что же это творится: земледелец отчужден от земли, хлебороб лишен возможности купить хлеба к обеденному столу… Мы зашли в сельский магазин — что там можно приобрести? Селедку-иваси в томате… Люди давятся в очереди за хлебом, как в голодные годы… Если у вас в Новгороде вот хоть бы этот… как его фамилия? Скворцов. Тридцать восемь лет — совсем молодой человек. Да если б повсюду в областях вытеснили молодые стариков — тогда наверняка можно бы ждать перемен, и в сельском магазине, и в нашем писательском деле, а?

Раньше мне тоже казалось: стоит заменить стариков молодыми, и жизнь повернется в лучшую сторону. Логика моя была проста: раз мы докатились до жизни такой при главенстве стариков, при молодых хуже не будет, а вот лучше — почти наверняка.

Наивность свойственна не только мне, грешному, но и людям высокого ума, то есть они от нее несвободны. Кажется мне, и Федор Александрович разделял мою точку зрения. Но тогда в наивности я его не заподозрил. Молодость секретаря обкома казалась нам обоим залогом его добрых намерений, а следовательно, перемен, которых все ждали.

Мы так охотно верим тому, во что хочется верить!

Правда, кое-какие мелочи смущали меня в новом секретаре обкома, моем ровеснике. Одним из первых его деяний на этом посту было: он приказал немедленно снять со здания телеграфа (а телеграф напротив обкома партии) только что вывешенный там художником-оформителем лозунг «Советская Конституция обеспечивает права советского человека». Плакат был снят не из-за эстетической неполноценности, а по причине его политической остроты: Скворцов усмотрел в нем некий коварный намек.

И другой случай насторожил меня, правда, несколько позднее: ехала в Новгород писательская делегация из Москвы, и вздумали поэты в поезде ночь напролет читать стихи. Проводница потребовала прекратить «это безобразие». Ее не послушались. Тогда их с помощью милиции высадили на станции Бологое под тем предлогом, что-де литераторы пьяны. В нашем обкоме разгневались на железнодорожную милицию, но тут выяснилось

случайно, что один из московских поэтов обронил в Бологое фразу: «А еще кричим о правах человека!» И отношение к литераторам мгновенно переменилось. «Ах, они о правах человека! — воскликнул Скворцов, — Наслушались, понимаешь, клеветнических измышлений с Запада». И поэтов вернули в Москву с неприятной для них аттестацией.

Или вот после нашего с ним доверительного разговора он сказал Кулепетову: «Передайте Красавину в тактичной форме, что к секретарю обкома с перстнем на пальце не ходят». Это меня, помнится, обескуражило: если Скворцову не нравится сочетание слов «права человека», то чем мой трехрублевый перстень-то не угодил?

Человек познается в мелочах, и те мелочи немало озадачивали меня.

— А что, Юра, я должен нанести прощальный визит в обком партии? — спросил Абрамов после прогулки в кремль, — Как тут у вас принято?

— Надо посоветоваться с ними, Федор Александрович, — отвечал я.

— Ну, ты звякни туда.

Я «звякнул»: Абрамов уезжает, будут ли к нему какие-либо вопросы?

— Думаю, что да, — бодро сказал Тэммо. — Сейчас решим, на каком уровне его примут.

И через несколько минут сообщил:

— Абрамов будет принят на уровне Скворцова. Приходите и вы с Чистяковым тоже.

Мы поднялись на третий этаж, где милиционер дежурил, и тут в коридоре Федор Александрович вдруг замедлил шаги и приостановился:

— А зачем, собственно, мы идем туда, Юра? Какой в этом смысл? Что-то мне не нравится наш визит. Давайте поразмыслим, не пора ли повернуть назад.

Признаться, и я усомнился: зачем отрывать драгоценное время у занятых людей и явно не ради дела, а ради соблюдения некоей формальности: приехал писатель Абрамов и был принят на уровне секретаря по идеологии. Будто для отчета.

— Вот что: не пойду я к ним, — решил Федор Александрович. — С машиной они мне не помогли, с гостиницей тоже, следовательно, я им ничего не должен.

— Расскажете, как спалось в комнате общежития, как возили вас по области, — подсказал я, — Познакомитесь с молодым партийным работником, поблагодарите его за радушный прием, оказанный вам в Новгороде.

Вот зачем я подталкивал Абрамова? Себе на беду, между прочим. А все от досады, от обиды. Словно не понимал, что гости уедут в этот же день, а я-то останусь, мне-то потом ответ держать.

— Ладно, — уступил моим уговорам Абрамов, — Пойдем.

Скворцов был человеком невысокого роста, худощавый, смуглый, черноволосый, всегда внутренне собранный и словно бы напряженный. Он как будто контролировал каждое свое слово, каждый жест, все время помнил, что надо вести себя именно так, сдержанно и сухо, и никак иначе. Я никогда не видел его улыбающимся, никогда не слышал его шутки.

Он встретил нас, выйдя из-за письменного стола. По-видимому, все было выверено: когда встать, когда выйти, как подать руку. Любезно и заученно он усадил нас за другой, более длинный стол, со множеством стульев, сел с нами и сам, сложив руки, как ученик-отличник на парту. В эти несколько минут двигался он неторопливо, я бы даже сказал рационально: ни одного лишнего слова, ни одного пустого жеста — таким образом достигалось впечатление некоторой сановности, приличествующей его посту.

Пожалуй, они с Абрамовым были, грубо говоря, одной весовой категории: и ростом одинаковы, и фигурами недородны. Что же касается других характеристик… насколько секретарь обкома был подтянут и собран, настолько автор трилогии о Пряслиных расслаблен и подчеркнуто свободен; насколько устремлен один четко соблюсти церемониал приема, настолько другой небрежен к внешнему этикету.

Абрамов не считал нужным скрывать свое недовольство; он уселся этак вполоборота к секретарю обкома, несколько развалясь, то есть как у меня в квартире сиживал, так и в обкомовском кабинете расположился. Думаю, это задело щепетильного Скворцова, но он не подал вида. И я, признаться, испытал некоторую неловкость за поведение Федора Александровича, потому как обстановка располагала к большей строгости.

— Ну, как поездка? — вежливо спросил секретарь обкома. — Что удалось посмотреть?

То есть начиналась привычная для него церемония.

Я знал отрицательное отношение Скворцова к очерку о пашне, живой и мертвой. Он считал, что авторы «сгустили краски», «не видят перспективы», «проявили близорукость». А вот роман «Братья и сестры» секретарь обкома хвалил.

Руководящие товарищи редко бывают знатоками или хотя бы просто любителями художественной литературы. Я знал одного

новгородского председателя колхоза, Героя Социалистического Труда, который однажды честно признался перед писателями (а один из них как раз подарил ему свою книгу): «А я ведь литературу не читаю. Я за всю жизнь только одну книгу прочитал, называется „Гулящая“, автора не помню…»

Вот, пожалуй, если сравнить Скворцова с тем Героем, то следует признать секретаря обкома гораздо более просвещенным человеком. Ну, естественно, тут я имею в виду только художественную литературу, о всем прочем судить не берусь.

Федор Александрович в обычной своей манере, неторопливо, растягивая слова, произнося их этак через оттопыренную нижнюю губу, заговорил:

— Как вам сказать… Я вот, без преувеличения, объездил всю страну, от Северного Ледовитого океана и до Средней Азии, от Охотского моря и до Балтики. И, знаете, нигде меня так плохо не встречали, как здесь, в Новгородской губернии. Речь идет, разумеется, не о каких-то почестях, а о самом скромном, самом необходимом: чтоб крыша над головой была, то есть временное пристанище, ну и возможность куда-то съездить, посмотреть. Только и всего.

Я видел, как тень легла на лицо Скворцова. «Прием» вдруг сошел с привычных рельс и покатил этак неординарно, нервно. Скворцов недоумевал и, кажется, надеялся еще, что вышло какое-то недоразумение, и оно сейчас разъяснится. А Абрамов продолжал:

— Вот я только что вернулся из поездки по Франции, где был, по сути дела, по приглашению французского правительства… это по межправительственному соглашению о культурных связях… объехал всю Францию — везде меня встречали вежливо, приветливо, радушно, показывали все, что бы я ни захотел, нигде я не испытывал нужды в чем-то: то есть куда ни приеду — пожалуйста, гостиница; в дорогу собрался — машина к подъезду. На такой же прием в Новгороде я, естественно, не рассчитывал, но хотя бы необходимый минимум…

Лицо секретаря обкома было каменным.

— И вот у меня к вам вопрос в связи с этим, — продолжал Абрамов. — Если я, секретарь правления Союза писателей, лауреат Государственной премии… вы извините, что я перечисляю тут свои регалии, не похвальбы ради, поверьте мне… если вот я, человек, так сказать, с положением, встретил такой прием у вас в области, то как же вы относитесь к рядовому-то писателю, который не лауреат и поста не занимает? Совсем пренебрегаете?

Тут Абрамов сделал паузу, а паузы он делать любил, и при

этом прямо и твердо смотрел на Скворцова.

— Ведь, что же, я тут не смог даже места в гостинице добыть… — Абрамов широко развел руками, — пришлось жить в общежитии. А уж я немолодой человек, мне роскоши не надо — хотя бы элементарные удобства, чтоб поспать спокойно, чтоб от сквозняка не простудиться…

Опять последовала пауза, которую никто не прервал, потому что всем своим видом и жестом рук Федор Александрович давал понять, что нет, он еще не кончил.

— А что касается транспорта… На стареньком «Запорожце» пришлось по области ездить. И тому был рад. Безногий инвалид нас возил! Благо добрым человеком оказался… Вы считаете это все нормальным?

Тут Скворцов обратил ко мне свое потемневшее лицо и жестко спросил:

— Юрий Васильевич, как такое могло получиться? В чем дело?

А я со своей стороны в тон Абрамову:

— У меня, Рудольф Александрович, создалось впечатление, что в нашей области совсем нет порядка. Вы представьте себе: первый секретарь в отпуске, вместо него второй — по сути он главное лицо в области! И вот это главное лицо дает распоряжение своему подчиненному Осипову выделить для писателя Федора Абрамова автомашину, с тем, чтоб он смог поездить по колхозам, познакомиться с состоянием дел, которые его интересуют, — такова его профессия! А Осипов машины не дает, то есть отказывается выполнить распоряжение ему только что отданное. Это порядок?

— Такого не может быть, — жестко сказал Скворцов.

— Осипов потребовал, чтоб я, Красавин, платил за машину из собственного кармана. У меня такой возможности нет! А гости не на рыбалку приехали…

Моя речь, как я потом догадался, поразила Скворцова. Не тем, что я сообщил, нет: просто он считал меня «своим» человеком, стоящим на страже наших, областных интересов, а раз так, то он имел право рассчитывать на мою поддержку. Ведь и то принять во внимание: мы с ним так хорошо, доверительно побеседовали в прошлый раз. И вот я… Как это понимать? Я его предал! Именно так следовало квалифицировать мое поведение: предательство по отношению к нему, Скворцову. Я не только не помог ему, секретарю обкома, но еще более усугубил то щекотливое положение, в которое он попал.

— Может быть, вы слышали, — продолжал Абрамов, — что скоро состоится съезд Союза писателей, где будут решаться

важные, на мой взгляд, государственные вопросы… Ведь вы же, руководители области, заинтересованы в том, чтоб Новгородчина освещалась прессой достаточно широко и объективно… Объясните мне, в чем тут секрет: почему так неприветливы к писателям в области?

— У нас более, чем достаточно, всякого транспорта! — сказал Скворцов с негодованием. — И номер в гостинице нашелся бы. Мне странно слышать… Я обещаю вам разобраться.

Тут меня за язык опять потянуло:

— Я ведь тоже при регалиях, Рудольф Александрович, только на другом уровне, малость пониже, но все-таки: депутат областного Совета, руководитель областной писательской организации, в президиумах то и дело сижу… А вот поехал на прошлой неделе в Валдай, целый день болтался там в горкоме партии, в райисполкоме, в райсельхозуправлении — машину клянчил. И что? А ничего. Так и не дали. Происшедшее с нашими гостями — это не частный случай, а общий стиль, принятый у нас в области.

— Глубокая духовная провинция… — приступил Абрамов к следующей своей гневной филиппике.

Вот так мы и продолжали, будто заранее спевшись: он вел главную партию, я подхватывал.

Вступительная часть беседы закончилась, заговорили о более важном: о причинах и следствиях происходящего в культуре ли, в сельском ли производстве… о нравственных (а точнее, безнравственных) корнях того, что творится сегодня… о завтрашних общественных болезнях, основу которых мы закладываем ныне… Короче говоря, это было то, что прозвучало потом столь явственно и страстно в абрамовском романе «Дом».

— Тяжелый был разговор, — глухо сказал мне Скворцов, провожая нас из кабинета, сказал так, чтоб другие не услышали, и тон его голоса насторожил меня.

— Вроде, парень неплохой, — размышлял вслух Абрамов, когда мы вышли из здания обкома. — По крайней мере, внимательно слушал. А ведь мог бы и не вытерпеть. Но — выслушал: значит, небезнадежен. А? Как ты думаешь, Юра?

Я пожал плечами: посмотрим, мол.

Абрамов и Чистяков уехали.

А на другой день в писательской организации произошло чрезвычайное событие: в нашем оффисе появился Скворцов. Он не подъехал на черной «Волге», а просто пришел, ведь обком партии рядом.

В нашем подвале, как на грех, в очередной раз прорвало трубу канализации; атмосфера отчаянно сгустилась, и я

испытывал крайнюю неловкость из-за того перед гостем; но он то ли не заметил, то ли, вежливый человек, воздержался от замечания. А может, просто считал это несущественным.

Тотчас вслед за ним явилась вся моя оппозиция в полном составе, то есть Прозаик, Поэт и Драматург; и надо сказать, поглядывали они на меня торжествующе. Оказывается — неслыханное дело! — им предложили срочно собраться по поручению именно Скворцова, и даже кое-какая информация к ним просочилась: они поняли, что пробил мой судный час, наступил крах моей карьеры. Они жаждали репрессивных мер и, разумеется, немедленно.

— Я слышал, у товарищей есть претензии к ответственному секретарю, — проговорил Скворцов, не глядя на меня, — Я хотел бы выслушать всех.

И у нас началось то, что мы сами именовали отнюдь не «вече», а «базаром»: высказывались все наперебой, в повышенных тонах, с употреблением сильных слов и крепких выражений. Я молчал, ожидая, когда Скворцов, выслушав моих оппонентов, обратится ко мне за разъяснениями. Я ждал своей очереди, и ожидание это было томительным. Что сказать? Ведь мне придется говорить то, о чем не хотелось бы: о нашем, так сказать, внутрисемейном, что полагается держать при себе; предстояло выносить сор из писательской избы, показывать его человеку постороннему. Что хорошего?

Вот, скажем, о Прозаике… Обороняясь, я должен буду сказать, что, вступив в очередной запойный период (а об его болезни Скворцов прекрасно осведомлен), он имеет обыкновение обзванивать своих знакомых по городам России со своего квартирного телефона; потом приносит мне фантастический счет: оплати, мол, из средств организации. Я на то не имел ни права, ни желания, ни возможности. Как умолчать об этом, если подобные счета — корень моих разногласий с Прозаиком!

Поэт то и дело приносил мне для оплаты сочиненные им рецензии, каждая из которых оценивала три-четыре стишка кого-нибудь из начинающих; рецензии эти были написаны каракулями без точек и запятых, без заглавных букв, в одном неповторимом экземпляре. Плату же Поэт требовал за сей безграмотный труд «аккордную»: то есть не три рубля, как полагалось бы законным порядком, а несусветную сумму в пятьдесят — шестьдесят рублей. Почему так много? А потому, видите ли, что деньги на счету писательской организации имеются и их-де надо тратить, иначе пропадут. Я платил Поэту вдвое меньше, чем он требовал: не полсотни, а двадцать — тридцать рублей — тоже безбожно большая сумма, имея в виду объем и качество выполненной

работы, и из-за этого ведь загорался сыр-бор! Сколько ярости выплескивал на меня мой коллега, обвиняя, что я его таким образом «граблю», что я «совсем обнаглел», «распоясался» и что меня «гнать надо».

И что, я это тоже должен объяснять секретарю обкома?

Драматург был выдержаннее, грамотнее, умнее. Он занимал пост ответственного секретаря до меня и ушел с него неохотно, сопротивляясь этому изо всех сил. Теперь выжидал, когда меня доедят коллеги, чтобы снова занять секретарское место, поскольку ясно же, что две другие кандидатуры не годятся: один безграмотен, другой привержен к алкогольному зелию. Драматург ждал, заботливо подогревая страсти.

Итак, мои коллеги дружно, как накануне сам я с Абрамовым на Скворцова, нападали на меня. Сменяя один другого, они говорили о том, что я начисляю деньги за работу «как левая нога хочет», что не отсиживаю в своей конторе положенное, что «КРУ еще разберется в финансовых нарушениях», что… В общем, много у меня обнаружилось грехов. Выслушав все это, Скворцов резко поднялся:

— Благодарю вас, товарищи, за информацию. Ответственного секретаря я вызову и выслушаю позднее… Думаю, мы примем меры.

И ушел, стремительный, весь налитый гневной силой.

Базар еще маленько пошумел, но скоро все разошлись: от вони в «оффисе» просто нечем было дышать.

В тот же день, как мне стало известно, Скворцов устроил разнос своим подчиненным: как они могли упустить из-под контроля писательскую организацию, где работа совершенно развалена! Как они могли допустить, что человек, которому «партия поручила ответственный пост», позволяет себе «развалить», «зажимать», «распоясываться»? Как это могло случиться? Кто за это ответит?

Инструктор сектора печати срочно отправился в больницу к Кулепетову за разъяснениями; встревоженный больной стал звонить Тэммо, а тот в свою очередь оправдывался перед Скворцовым так: «Вы пригласите Красавина и побеседуйте. Он вам все объяснит, и вы перемените свое мнение на противоположное». Но в том-то и дело, что Скворцов приглашать меня не хотел, и продолжал гневаться. Литературная общественность города взволновалась, слухи и предположения обсуждались живо и заинтересованно.

Что касается меня, то состояние было такое, будто после воодушевленного парения в облаках в течение нескольких предшествующих дней, меня вдруг властно и грубо потянули за

ноги вниз, да и погрузили на дно омута. Грустно было. Досадно. Досадно, между прочим, не столько за себя, сколько за своего ровесника: судьба, вроде бы, благоволила к нему (в неполные сорок лет уже секретарь обкома!), того и гляди вознесет на самые верха, а он… Как понимать эту мелкую мстительность? Сказано же: учитесь властвовать собой. И что же, этот будущий государственный деятель, всегда так напряженно державший себя в узде, не может владеть своими чувствами и слушать голос разума?

Грустно это.

В обком не вызывали и на другой день, и на третий… За это время я вполне «разогрелся» и, когда меня пригласили-таки на беседу, начал с того, что заявил Скворцову о своей отставке: я не считал для себя возможным занимать этот пост после его угрозы «принять меры».

Мне были заданы самым суровым тоном вопросы, и объяснения мои выслушаны столь же сурово. Уходя, я опять напомнил о необходимости отстранить меня от должности. Но закончилось все так, как уже бывало не раз: мне потом позвонили из обкома, напомнили, что я член партии, поставлен на ответственный пост и обязан продолжать порученное мне дело. То есть моя отставка не была принята…

Сейчас вот вспомнился мне тот прием «на уровне Скворцова» со странным чувством: боже мой, ведь тех, что сидели на этом приеме, уже нет в живых!

Федор Александрович умер в свои шестьдесят три года, рано умер, но, должно быть, исчерпал свой жизненный ресурс. Однако же вот они, его книги… следовательно, он вроде бы и жив, с ним можно побеседовать: таково чудо печатного слова, такова писательская судьба.

И нет Антонина Чистякова: утонул в озере, что возле его родной деревни. При каких обстоятельствах он погиб — бог ведает, ибо дело до крайности неясное.

И уж чего никак нельзя было предположить, учитывая возраст Скворцова: его тоже нет в живых. Поработав секретарем Новгородского обкома, он уехал учиться, окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС и был послан консулом в Польшу… а что там с ним произошло? Официальной информации никакой не было, известно только то, что привезли и похоронили его в Новгороде, а похороны были без особых почестей — в чем-то он провинился. Может быть, слишком однозначно понимал права человека в тамошней смутной обстановке. В городе поговаривали: то ли застрелили его там, то ли сам застрелился — ну, при недостатке информации слухи подчас весьма причудливы.

Я ловлю себя на мысли, что не могу ныне представить Скворцова в сегодняшнем дне. Как бы он поступал? Что говорил? Нет, не представляю… Для него перестройка была бы нелегким делом. По силам ли?

А вот Федору Абрамову перестраиваться не пришлось бы: он был рожден для сегодняшнего дня. Может быть, и для завтрашнего?

Я не оракул. Не мое дело предсказывать будущее.

«Каждый должен исполнять свой долг, — сказал тогда Абрамов, — в меру совестливости и сил своих. А уж потом рассудят, кто есть кто».

Наверное, под этим суждением мог бы в знак солидарности подписаться и Скворцов на уровне секретаря обкома партии, и Кочетов на уровне главного редактора столичного журнала, и я на уровне провинциального автора. Только у каждого из нас свое понятие о долге. А некий высший судия (народ, как нас учили в школе) подводит черту под каждой жизнью, состоявшейся и несостоявшейся, на любом уровне, и под нею итожит, кто есть кто.

1988 г.